

# XX Всероссийская олимпиада школьников по литературе. 2015 год

## Задания заключительного этапа

9 класс

I тур

*Проведите целостный анализ текста (прозаического или стихотворного – на выбор)*

Андрей Степанов

### Руководство по наблюдению кучевых облаков

Жизнь имеет смысл, только если человек лежит в траве и смотрит в небо. Желательно, чтобы это было на берегу реки. Также желательно иметь в зубах травинку.

В одном городе был белый собор. Он стоял на самом берегу, высоко на холме, в окружении приземистых старинных построек жёлтого цвета. Разговаривать с этими классическими старцами собору было не о чем: они только и делали, что вспоминали те времена, когда выше них в городе никого не было, да ругали собак и машины, от которых становились всё желтее и желтее. Поэтому собор беседовал с облаками. А облака в этом городе были особенные — мощно-кучевые, белые и огромные. Они громоздились до самого неба, а их слои и струи слоились и струились, принимая удивительные формы. Правда, формы эти быстро менялись — а вместе с ними и характеры облаков.

— Доброе утро! — обращался только что проснувшийся собор к добродушному носатому фламандцу, наплывавшему на него со стороны восхода.

— Добрейшее! — хохотал фламандец, распахивая толстенные ручки для объятий. — Душ, душ, душ, и никакие протесты не принимаются!

— Конечно, конечно, самое время, — охотно соглашался собор.

— Как славно жить в мире и помогать друг другу! — радовался фламандец, пуская первую струю.

— Да чем же я-то вам помогаю?

— А вы думаете, легко таскать по небу такое брюхо? А теперь оно меньше, меньше, меньше...

Собор еле успевал отфыркнуться всеми водосточными трубами, а никакого фламандца уже и в помине не было. На его месте болтался тощий джинн с узкой головой, словно только что выпущенный из бутылки кока-колы.

— Так. Выполняю желания в течение трёх секунд! — объявлял джинн. — Думать некогда, быстренько решайте, что вам нужно от жизни! Время пошло. Раз...

Вопрос был серьёзный, и собор всё-таки морщил купол в задумчивости, а тем временем джинн, закинув бороду за плечо, превращался в небольшого ангела в хитоне.

— Тяжело вам, наверное, всё на одном месте стоять? — сочувствовал ангел.

— Да уж, не весело, — вздыхал собор. — Но зато есть, знаете ли, некоторая стабильность...

Кому это он говорит о стабильности? Ангел давно исчез, и на его месте чистое небо.

«И вот так, — думал собор, — будет всю жизнь. Ни одного друга, только случайные знакомые. Сколько их уже было! Мне и половины не упомянуть. А как бы мне хотелось иметь постоянного собеседника... Вот взять фабричные трубы: у них есть свой постоянный дым. Грязный, удушливый, безусловно вредный, но свой. Почти семья. А у меня никого нет и никогда не будет, один только звон».

И собор вздыхал так тяжело, что его колокола вздрагивали и начинали гудеть, а люди, слыша это, принимались сочувственно втекать ему внутрь.

«Ну что ж, пора за дело», — думал собор. Он любил свою несложную работу: открывать и закрывать двери, запускать гулкое эхо при песнопениях и осторожно подпевать органу. Слух у него был абсолютный, но голос тяжеловатый.

В пять вечера над ним пролетал самолёт.

— Ну, как там в Бомбее? — интересовался собор.

— Забомбеить бы его, — каламбурил старый боинг. — Жарко, душно и ни одной родной души.

— Устал?

— Устал. В ангар бы поскорее. И маслица мне, маслица...

— Слушай, а это трудно — летать?

— Летать не трудно, а скучно. Особенно если внизу ни черта не видно. Но ты, браток, извини, спешу я, завтра поболтаем, ладно?

— Ну, пока, пока.

Поздно вечером его закрывали и оставляли наедине с грустными мыслями. Он никак не мог заснуть и считал в небе молчаливых слонов почти до самого утра. А зимой и вовсе было не с кем поговорить, потому что облачность становилось тяжёлой, густой и бесформенной, как на Юпитере. Собор принимался перебирать прошлое, но и оно было туманным. С трудом вспоминалось, как его строили, как освящали. А потом потянулась долгая череда дней, заполненных службой и беседами с мимолётными облаками. За всю свою жизнь он мог припомнить не больше десятка особенных дней: редкие северные сияния, несколько рок-конcertов на площади да ещё жемчужно-голубые светящиеся облака, которые за сто лет жизни ему довелось видеть всего три раза.

Жёлтые старцы его ругали:

— Ты, брат, витаешь в облаках. Ты, брат, предаёшься несбыточным мечтам, не замечая окружающие тебя культурные ценности. Не соборное это

дело, несерьёзное, не тем у тебя купол занят. Все к тебе с уважением относятся, иностранцы приезжают на нас с тобой посмотреть.

— Беседовать с облаками — самое серьёзное дело, — возражал собор.

— Это ещё почему?

— Да потому, что мы с вами вечные, а у них каждая минута последняя.

Им тоже поговорить хочется.

— Он совсем свихнулся, — вздыхали старцы. — С мёрзлым паром разговаривает.

— Да пошли вы все! — сердился, наконец, собор. — Наплевать мне на вас с четырёх колоколен!

— Эх, ты! А еще кафедральный. Ты бы о Боге подумал!

На это собор ничего не отвечал. Отношения с Богом у него были сложные. С одной стороны, кафедральное положение, конечно, обязывало верить. А с другой — в небе всё так быстро менялось, что собор чувствовал: никакому Богу там всё равно не удержаться. Поэтому, чтобы не запутаться, он предпочитал совсем не думать о вечном. Его купол был заполнен только воздухом и светом, и лишь изредка туда залетала какая-нибудь шальная ласточка и проносилась быстро, как мысль, от окна к окну.

Но однажды осенью случилось нечто необычайное.

Накануне вечером он простудился. День был холодный, с самого утра дул пронзительный ветер, потом небо обложило, и стал накрапывать дождь. Собору нездоровилось, у него поднялась температура, запотели стекла, заныли старые трещины, и ближе к ночи он стал бредить. Вся облачная жизнь пошла кувыркком. То ему чудился профиль дамы в шляпке, и он кричал: «Мадам, подождите секундочку!» — но вместо мадам в небе, раскинув руки, падал безголовый актер. То усатый лопоухий дьявол с длинной шеей тащил за собой огромное туловище цвета гангрены. Пролетал самолёт с отрывающимся хвостом, кричал: «Всех забомбею!» — но тут же исчезал, и на его месте ещё долго тянулся хвост без самолёта.

Ночь прошла без сна, а перед самым рассветом собор вдруг увидел, что с запада тяжело наползает гигантская чёрная туча — такая высокая, что, казалось, по ней можно было забраться на самую вершину неба. Что-то в этой туче казалось очень знакомым, хотя собор и понимал краем купола, что знакомых туч не бывает.

Туча подползала всё ближе и ближе и, наконец, остановилась прямо над ним. Рта у неё не было, но где-то посередине было прорезано два длинных недобрых глаза. Сквозь прорези выглянула пара солнечных лучей, но, увидев, как внизу всё серо, лучи переглянулись и спрятались обратно.

И тут собор вздрогнул. Он понял: туча в точности повторяла форму его, собора. Только он был белый, а она — совершенно чёрная. Он вспомнил, как одно облачко рассказывало ему, что над озёрами в жаркий день иногда висят облака точнехонько по форме озера.

«Наверное, я всё ещё брежу», — подумал собор, а потом спросил вслух:

— Ты кто?

В ответ туча громыхнула так, что у собора заложило трубы. С диким ором рванули вверх вороны, чернившие купол. Они неслись к туче, но на полпути вдруг чего-то испугались и так же внезапно всей стаей ринулись в сторону.

И тут полыхнуло огнём. Небо превратилось в собственный негатив, а озарённый собор почувствовал, что сейчас случится что-то непоправимое.

И действительно, в следующее мгновение он содрогнулся от страха всеми колоннами: прямо в его купол впиалась молния. Она ударила и замерла: разряд длился и длился, а собор жадно впитывал его до тех пор, пока внутри у него не стал разгораться ответный пожар.

Одна за другой, как свечи, вспыхнули все четыре колокольни. От главного купола винтом уходил вверх густой чёрный дым, сливаясь с тучей. Туча росла на глазах и уже, казалось, накрыла весь город.

«Вот, — думал собор, разгораясь, — сейчас весь мой дым поднимется к туче, от меня ничего не останется, я сам стану тучей, я стану самой большой в мире тучей, а потом ударю с такой же силой о землю, прольюсь дождём, и так кончится моя жизнь».

С грохотом рушились перекрытия. Огонь перекидывался на жёлтых старцев, в городе разгорался ночной пожар. Люди внизу в панике носились взад-вперёд, не зная, что делать. А потом рухнул купол.

Верховой ветер, который дует среди облаков, начал уносить гигантскую тучу в море. Не было видно ничего, кроме звёздного неба наверху и тёмного моря внизу.

— Кто же я теперь? — думал бывший собор, ставший тучей. — На что я похож? Похожа? Похоже? Я не знаю.

Он с каждой секундой набирался электричества и становился грозовым. Им овладело чувство новой силы, и он жадно вбирал в себя попадавшуюся на пути мелкую облачную россыпь. Он чувствовал, как в нём копится заряд, зреет новая молния. И вдруг в один миг чернота вокруг стала ослепительно белой. Это была его первая молния. За ней последовала вторая, третья, потом ещё. Поливая огнем и водой притихшее море, чёрная туча неслась, теряя себя, сама не зная куда.

\* \* \*

Он очнулся над морем в ясном синем небе и, оглядев самого себя, понял, что от него осталось только небольшое облачко тёмно-серого цвета. Рядом маячило белое облако чуть побольше, похожее на ангела.

— Привет, заяц! — радостно приветствовал его ангел. — Нам по пути, да?

— А... где мы? Ой, не приближайтесь, пожалуйста, а то вы со мной сольётесь!

— Да я и не собираюсь. Больно надо! Что я, зайцем никогда не был, что ли?..

— Почему зайцем?

— Да потому что ты сейчас заяц серый, разве ты не чувствуешь?

Бывший собор прислушался к себе и обнаружил, что внутри у него всё ещё гнездится страх. Но он решил не подавать виду: заяц так заяц — теперь ему было всё равно, кто он такой.

— А где мы летим? — спросил он у ангела.

— Уже залив перелетели. Видишь шпили? Значит, город совсем близко. Я там ещё никогда не был.

— А я тем более. Слушай, а ты знаешь, ты уже не ангел!

— Ну и ладно. Я теперь, должно быть, горный орёл, — беззаботно отвечал бывший ангел. — То есть сейчас буду. А вот ты уже совсем ни на что не похож. Так, клякса серая. Боишься, что ли?

— Нет. То есть уже меньше боюсь, — отвечал бывший заяц, следя за тем, как на горизонте добродушный волк превращается в добродушного медведя. — А знаешь что? Поплыли вон к тому важному собору, поболтаем?

— Это ещё зачем?

— Ну, так. Наверно, скучно старику.

— Ну, давай, — согласился временный орёл. — Только ты форму прими какую-нибудь, а то смотреть противно. Да не бойся, это не больно.

— А я уже не боюсь. Сейчас попробую... Вот, например, толстый такой фламандец подойдет?

— Угу. Только тебе одному не потянуть. Тощий ты.

— А что делать?

— Сливаться надо.

— Ну так давай!

\* \* \*

В одном городе был островерхий собор. Он стоял на берегу залива, у самой воды, в окружении старинных построек жёлтого цвета. Разговаривать с этими старцами собору было не о чем, и потому он беседовал с облаками.

— Доброе утро! — обращался только что проснувшийся собор к добродушному носатому фламандцу, наплывавшему на него со стороны восхода.

— Добрейшее! — хохотал фламандец, распахивая толстенные ручки для объятий. — Душ, душ, душ, и никакие протесты не принимаются!

2008

*Андрей Дмитриевич Степанов* (род. в 1965 г.) — доктор филологических наук, литературовед, писатель, переводчик. Автор книги «Проблемы коммуникации у Чехова» (2005), сборника «Сказки не для людей» (2009) и романа «Эликсир князя Собакина» (2011, в соавторстве с О. Лукас). «Руководство по наблюдению кучевых облаков» — одна из десяти сказок указанного сборника.

## Игры и шалости

Мне кажется, со мной играет кто-то.  
Мне кажется, я догадалась — кто,  
когда опять усмешливо и тонко  
мороз и солнце глянули в окно.

Что мы добавим к солнцу и морозу?  
Не то, не то! Не блеск, не лёд над ним.  
Я жду! Отдай обещанную розу!  
И роза дня летит к ногам моим.

Во всём ловлю таинственные знаки,  
то след примечу, то заслышу речь.  
А вот и лошадь запрягают в санки.  
Коль ты велел — как можно не запречь?

Верней — коня. Он масти дня и снега.  
Не всё ль равно! Ты знаешь сам, когда:  
в чудесный день! — для усиления бега  
ту, что впрягли, ты обратил в коня.

Влетаем в синеву и полыханье.  
Перед лицом — мах мощной седины.  
Но где же ты, что вот — твоё дыханье?  
В какой союз мы тайный сведены?

Как ты учил — так и темнеет зелень.  
Как ты жалел — так и поют в избе.  
Весь этот день, твоим родным изделием,  
хоть отдан мне, — принадлежит Тебе.

А ночью — под угрюмо-голубою,  
под собственной твоей полулуной —  
как я глупа, что плачу над тобою,  
настолько сущим, чтоб шалить со мной.

*1 марта 1981, Таруса*

*Белла (Изабелла) Ахатовна Ахмадулина (1937—2010) — поэт, переводчик, одна из самых популярных авторов-шестидесятников. Выпустила сборники стихов «Струна» (1962), «Уроки музыки» (1970), «Свеча» (1977), «Тайна» (1983), «Сад» (1989) и др. В творчестве Ахмадулиной большое место занимали поэтические и прозаические размышления о Пушкине и Лермонтове.*

Задания заключительного этапа

10 класс

I тур

*Проведите целостный анализ текста (прозаического или стихотворного – на выбор)*

**Владимир Набоков**

**Пассажир**

— Да, жизнь талантливее нас, — вздохнул писатель, постукивая картонным концом папиросы о крышку портсигара. — Иногда она придумывает такие темы... Куда нам до неё! Её произведения непереводимы, непередаваемы...

— Все права закреплены за автором, — улыбнувшись, подсказал критик, скромный, близорукий человек с тонкими, подвижными пальцами.

— Нам остаётся только жулить, — продолжал писатель, рассеянно бросив спичку в пустую рюмку критика. — Нам остаётся делать с её творениями то, что делает фильм режиссёр с известным романом. Режиссёру нужно, чтобы горничным в субботний вечер было нескучно, и потому он этот роман меняет до неузнаваемости, крошит его, выворачивает, выбрасывает тысячу эпизодов, вводит придуманные им самим происшествия, новых персонажей, — и всё для того, чтобы получился занимательный фильм, развивающийся без всяких помех, карающий в начале добродетель, а в конце — порок, совершенно естественный в своей условности и, главное, снабжённый неожиданной, но всё разрешающей развязкой. Вот точно так же и темы жизни мы меняем по-своему, стремясь к какой-то условной гармонии, к художественной сжатости. Приправляем наш пресный плагиат собственными выдумками. Нам кажется, что жизнь творит слишком размашисто и неровно, что её гений слишком неряшлив, мы в угоду нашим читателям выкраиваем из её свободных романов наши аккуратные рассказы, — *ad usum Delphini*\*. Позвольте же по этому поводу вам сообщить следующий случай.

Ехал я в экспрессе, в спальном вагоне. Я очень люблю дорожное новоселье, — холодноватое бельё на койке, фонари станции, которые, тронувшись, медленно проходят за чёрным стеклом окна. Было мне приятно, помнится, что надо мной, на верхней койке, никого нет. Раздевшись, я лег навзничь, подложил под затылок руки, — и лёгкость узкого казённого одеяла была прямо-таки сладостна после пухлости отельных перин. Помечтав кое о чём, — мне о ту пору хотелось писать повесть из жизни вагонных уборщиц,

---

\* Буквально: для наследника престола (лат.), здесь: для детского чтения.

— я выключил свет и очень скоро уснул. И тут разрешите мне употребить приём, частенько встречающийся в таких именно рассказах, каким обещает быть мой. Вот он, — этот старый, хорошо вам известный приём. «Среди ночи я внезапно проснулся». Впрочем, дальше следует кое-что посвежее. Я проснулся и увидел ногу.

— Виноват? — переспросил скромный критик, подавшись вперёд и подняв указательный палец.

— Я увидел ногу, — повторил писатель, — Отделение было освещено, и поезд стоял на какой-то станции. Нога была мужская, крупная, в грубом пёстром носке, продырявленном синеватым ногтем большого пальца. Она плотно стояла на лесенке у самого моего лица, и её обладатель, скрытый от меня навесом верхней койки, как раз собирался сделать последнее усилие, чтобы взобраться на свою галёрку. Я успел хорошенько рассмотреть эту ногу, серый в чёрную клетку носок, фиолетовую ижицу подвязки сбоку на толстой икре. Сквозь трико длинного подштанника неприятно торчали волоски. Вообще нога была препротивная. Пока я на неё смотрел, она напряглась, пошевелила раза два цепким большим пальцем, наконец сильно оттолкнулась и взвилась наверх. Там, наверху, послышалось кряхтение, посапывание, — все звуки, по которым я мог судить о том, что человек укладывается спать. Затем свет погас, и через несколько мгновений поезд тронулся.

Я не знаю, как вам объяснить, — эта нога произвела на меня впечатление гнетущее. Пёстрая, мягкая гадина. И меня тревожило то, что из всего человека я знал только эту недобрую ногу, а фигуры, лица так и не увидел. Его койка, которая образовывала надо мной низкий, тёмный потолок, теперь казалась ниже, я словно ощущал её тяжесть. Как я ни старался представить себе облик моего ночного спутника, всё у меня торчал перед глазами этот крупный ноготь, блестящий синеватым перламутром сквозь дырку шерстяного носка. Вообще странно, конечно, что такие пустяки могли меня волновать, — но ведь, с другой стороны, не есть ли всякий писатель именно человек, волнующийся по пустякам? Как бы то ни было, сон ко мне не шёл. Я прислушивался, — не храпит ли мой неведомый пассажир? Мне показалось, что он не храпит, а стонет, — но, как известно, ночной колёсный стук поощряет галлюцинации слуха. Однако я не мог отделаться от впечатления, что там, надо мной, раздаются какие-то необыкновенные звуки. Я слегка приподнялся. Звуки стали яснее. Человек на верхней койке рыдал.

— Как вы сказали? — прервал критик. — Рыдал? Так, так. Простите, я не расслышал. — И, снова уронив руки на колени и склонив набок голову, он продолжал слушать рассказчика.

— Да, он рыдал, — и его рыдания были ужасны. Рыдания душили его, он шумно выпускал воздух, как будто выпив залпом литр воды, и за этим следовало быстрое всхлипывание с закрытым ртом, какая-то страшная пародия на кудахтание, — и опять вдохание, и опять мелкие рыдающие выдохи, но уже с открытым ртом, — судя по хахакающему звуку. И всё это на шатком фоне колёсной стукотни, ставшей тем самым как бы движущейся лестницей, по которой всходили и спускались его рыдания. Я лежал не



шевелиясь и слушал, — и при этом чувствовал, что у меня в темноте преглупое лицо: всегда становится неловко, когда рыдает чужой человек. А тут ещё я был невольно связан с ним тем, что мы лежим на двух полках, в одном и том же отделении, в одном и том же безучастно мчавшемся поезде. И он не унимался, — это ужасное трудное всхлипывание не отставало от меня: мы оба, я — внизу — слушающий, — он — наверху — рыдающий, летели боком в ночную даль со скоростью восьмидесяти километров в час, и только железнодорожная катастрофа могла бы расцезать нашу невольную связь. Потом он как будто перестал, — но только я собрался уснуть, снова заклокотали его рыдания, и мне казалось даже, что попеременно со всхлипывающими вздохами он произносит какие-то слова, нутряным голосом, животом. Он снова замолк, только посапывал; и я лежал с закрытыми глазами и видел в воображении его отвратительную ногу в клетчатом носке. Я всё-таки уснул, а в половине шестого утра проводник рванул дверь, разбудил меня, и, сидя на койке, поминутно стучаясь головой о край верхней койки, я стал поспешно одеваться. Перед тем как выйти с чемоданами в коридор, я оглянулся на верхнюю койку, но он лежал ко мне спиной, накрывшись с головой одеялом. В коридоре было светло, солнце только что встало, синяя, свежая тень поезда бежала по траве, по кустам, изгибаясь, взлетала на скаты, рябила по стволам мелькающих берёз, — и ослепительно просиял удлинённый прудок посредине поля, медленно сузился, превратился в серебряную щель, и с быстрым грохотом проскочил домик, шлагбаум, хлестнула хвостом дорога, — и опять замелькали пятнистым частоколом, от которого кружилась голова, бесчисленные, солнцем испещрённые берёзы. Кроме меня, в коридоре стояли две заспанные, наскоро покрашенные дамы и старичок в замшевых перчатках и дорожном картузе. Я ненавижу вставать рано, — упоительнейший рассвет в мире не может мне заменить часы сладкого утреннего сна, — и поэтому я только хмуро кивнул, когда старичок обратился ко мне: «Вы тоже вылезаете в...?» И он назвал большой город, куда мы должны были приехать через десять-пятнадцать минут.

Берёзы вдруг рассеялись, полдюжины домишек посыпали с холма, едва второпях не попав под поезд, затем прошагала, блистая стёклами, огромная багровая фабрика, чей-то шоколад окликнул нас с пятисаженного объявления, опять фабричный корпус, стёкла, трубы, одним словом, происходило всё то, что происходит, когда подъезжаешь к большому городу. Но вот, к нашему удивлению, поезд судорожно затормозил и остановился на пустынном полустанке, где, казалось бы, экспрессу нечего делать. Меня удивило и то, что на платформе стоят несколько полицейских. Я опустил оконную раму и высунулся. — «Закройте окно», — вежливо сказал один из них. Люди в коридоре заволновались. Прошёл кондуктор; я спросил, в чём дело. «В поезде находится преступник», — ответил он и кратко объяснил на ходу, что в городе, через который мы проезжали ночью, случилось накануне убийство, — муж застрелил жену и её любовника. Дамы ахнули, старичок покачал головой. В коридор вошли двое полицейских и краснощёкий кругленький сыщик в котелке, похожий на букмекера. Меня попросили

вернуться в купе. Полицейские остались стоять в коридоре, а сыщик принялся обходить отделения. Я показал ему паспорт. Он скользнул рыжими глазами по моему лицу и отдал мне бумаги. Мы стояли в тесном купе, на верхней койке неподвижно лежала тёмная, завёрнутая с головой фигура. «Вы можете выйти», — сказал мне сыщик и протянул руку наверх на койку, «Ваши бумаги, пожалуйста». Фигура в одеяле храпела. Стоя у открытой двери, я слушал этот храп, и мне казалось, что в нём ещё просвистывают отзвуки ночных рыданий. «Пожалуйста, проснитесь», — громче сказал сыщик и каким-то профессиональным жестом дёрнул за край серого одеяла, у шеи спящего. Тот шевельнулся, но продолжал храпеть. Сыщик потряс его за плечо. Мне стало не по себе, я отвернулся и принялся глядеть в коридорное окно, но ничего не видел, а всем существом слушал, что происходит в купе.

И представьте себе, я не услышал ровно ничего особенного. Сонно заворчал человек на верхней койке, сыщик отчётливо потребовал документы, отчётливо поблагодарил, вышел из купе, вошёл в следующее. Вот и всё. А ведь казалось, как вышло бы великолепно, — с точки зрения писателя, конечно, — если бы рыдающий пассажир с недобрыми ногами оказался убийцей, как великолепно можно было бы объяснить его ночные слёзы, — и, главное, как великолепно всё бы это уложилось в рамки моего ночного путешествия, в рамки короткого рассказа. Но, по-видимому, замысел автора, замысел жизни, был и в этом случае, как и всегда, стократ великолепнее.

Писатель вздохнул и замолк, посасывая давно потухшую, вконец разжёванную и замусленную папиросу. Критик глядел на него добрыми глазами.

— Признайтесь, — опять заговорил писатель, — вы были уверены, начиная с той минуты, когда я упомянул о полицейских на полустанке, что мой рыдающий пассажир — преступник?

— Я знаю вашу манеру, — сказал критик, кончиками пальцев коснувшись плеча собеседника и, свойственным ему жестом, сразу отдёрнув руку... — Если бы вы писали детективный рассказ, вы бы сделали искомым злодеем не того, кого никто из героев не подозревает, а того, кого с самого начала подозревают все, и тем самым провели бы опытного читателя, привыкшего к тому, что ларчик открывается непросто. Я знаю, что впечатление неожиданности вы любите давать путём самой естественной развязки. Но не слишком увлекайтесь этим. В жизни много случайного, но и много необычайного. Слову дано высокое право из случайности создавать необычайность, необычайное делать не случайным. Из данного случая, из данных случайностей вы могли бы сделать вполне завершённый рассказ, если бы превратили вашего пассажира в убийцу.

Писатель опять вздохнул:

— Да-да, я об этом думал. Я прибавил бы несколько деталей. Я намекнул бы на то, что убийца страстно любил жену. Мало ли что можно придумать. Но горе в том, что неизвестно, может быть, жизнь имела в виду нечто совсем другое, нечто куда более тонкое, глубокое. Горе в том, что я не узнал, почему рыдал пассажир, и никогда этого не узнаю....

— Я заступаюсь за слово, — мягко сказал критик. — Вы, писатель, по крайней мере, создали бы яркое разрешение. Ваш герой, может статься, плакал потому, что потерял бумажник на вокзале. У меня был знакомый, — взрослый мужчина необычайно воинственной наружности, — который плакал в голос, когда у него болели зубы. Нет-нет, спасибо. Больше мне не наливайте. Достаточно, вполне достаточно.

1927

*Владимир Владимирович Набоков* (1899—1977) — русский писатель, после 1940 г. писал на английском языке; литературовед, переводчик. Рассказ «Пассажир» входит в сборник «Возвращение Чорба» (1930), включающий 15 рассказов и 24 стихотворения.

**Евгений Баратынский**

### **Пироскаф**

Дикою, грозною ласкою полны,  
Бьют в наш корабль средиземные волны.  
Вот над кормою стал капитан:  
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,  
Ветру наш парус раздался недаром:  
Пенясь, глубоко вздохнул океан!

Мчимся. Колёса могучей машины  
Роят волнистое лоно пучины.  
Парус надулся. Берег исчез.  
Наедине мы с морскими волнами;  
Только что чайка вьётся за нами  
Белая, рея меж вод и небес.

Только вдали, океана жилища,  
Чайке подобно, вод его птица,  
Парус развив, как большое крыло,  
С бурной стихией в томительном споре,  
Лодка рыбачья качается в море, —  
С берегом набрежное скрылось, ушло!

Много земель я оставил за мною;  
Вынес я много смятенной душою  
Радостей ложных, истинных зол;  
Много мятежных решил я вопросов,  
Прежде, чем руки марсельских матросов  
Подняли якорь, надежды символ!

С детства влекла меня сердца тревога

В область свободную влажного Бога;  
Жадные длани я к ней простирал.  
Тёмную страсть мою днесь награждая,  
Кротко щадит меня немочь морская:  
Пеною здоровья брызжет мне вал!

Нужды нет, близко ль, далеко ль до берега!  
В сердце к нему приготовлена нега.  
Вижу Фетиду: мне жребий благой  
Емлет она из лазоревой урны:  
Завтра увижу я башни Ливурны,  
Завтра увижу Элизий земной.  
*Средиземное море, 1844*

*Евгений Абрамович Баратынский* (Боратынский, 1800—1844) — поэт, известный, прежде всего, философской лирикой. Товарищ и собеседник Пушкина. Стихотворение «Пироскаф» написано в мае 1844 г. на пароходе, по пути из Марселя в Ливорно. Поэт умер в Неаполе 29 июня /11 июля 1844. «Пироскаф» стал его предпоследним стихотворением.

### Примечания

*Пироскаф* — (фр. *pyroscarpe* < греч. *pyr* огонь + *skapnos* судно) — первоначальное название парохода.

*Днесь* — теперь, сегодня.

*Фетида* — самая известная из nereид, морских богинь, мать Ахиллеса.

*Емлет* — вынимает.

*Ливурна* (Ливорно) — город-порт в итальянской провинции Тоскана.

*Элизий* — в античной мифологии часть загробного мира, где царит вечная весна; место обитания героев и праведников.

# XX Всероссийская олимпиада школьников по литературе. 2015 год

## Задания заключительного этапа

11 класс

I тур

*Проведите целостный анализ текста (прозаического или стихотворного – на выбор)*

**Сигизмунд Кржижановский**

**Рисунок пером**

Директор Пушкинского кабинета Долев чувствовал себя в этот день очень утомлённым. Четыре экскурсии, работа с машинисткой, ответ на тринадцать настоятельных писем и, наконец, этот маститый пушкиновед профессор Гроцяновский плюс, как его, ах да, поэт Самосейский.

Пушкиноведу нужно было собрать материал по поводу того, в бане или у колодца возникли пушкинские стихи по поводу вод Флегетона. Профессор долго, не выпуская из рук полы пиджака Долева, втолковывал ему, что в деревянной баньке села Михайловского вода не могла «блистать», поскольку баня была парной и в ней не было электрического освещения, что же касается до поверхности воды в колодце села, у которого, как нам достоверно известно, Александр Сергеевич неоднократно останавливался, то тут возникает ряд проблем, требующих точной документации и анализа материалов.

Самосейский выражал горестное недоумение по поводу того, что в альбоме музея, собравшем в себя литературные высказывания о Пушкине, нет его стихотворения, обращённого к Пушкину, напечатанного в газете такой-то, там-то, тогда-то и как раз о том-то.

Дело было уже к сумеркам, когда Долев услышал внизу звук защёлкивающегося замка и вошёл к себе в свой, ставший внезапно очень тихим, директорский кабинет. Наконец-то можно взяться за свою работу. Долев посидел минуты две молча, положив руки на поручни кресла, затем придвинулся ближе к столу. Он уже вторую неделю писал, чёркал и снова начинал писать статью о «Медном всаднике». Перо побежало по строчке.

«...Учитывая литературные и внелитературные влияния, толкавшие руку Пушкина во время его работы над “Медным всадником”, нельзя забывать, как это все обычно делают, о возможности воздействия образов мифологических и геральдических. Славянская мифология, как известно, христианизировалась; древний палеологовский герб государства Российского получил, как раз во времена Петра, новое изображение на своём щите: Георгий Победоносец на коне, топчущем змея. Если убрать копьё, то оказывается, что фигура Фальконетова Медного всадника и геральдическая фигура Георгия Победоносца совпадают. Что же нам говорит дохристианский миф о Георгии? В древности приносились человеческие

жертвы на алтарь “духам вод”. Волны, грозящие поглотить всё живое, изображённые и на гербе, и на памятнике волнообразным, извилистым телом змея, пробовали умиловить, бросая в море людей. Но пришёл Георгий Воитель, поправил волны, и — как говорит миф — приношение человеческих жертв было отменено. Таким образом, если...».

На стене прозвенел телефон.

«...образом, если принять во внимание, что...»

Телефон повторил звонок.

«...несмотря на, я бы хотел сказать...»

Телефон напомнил о себе ещё раз. Долев отшвырнул перо и подошёл к трубке: «Как, ах да, да-да, знаю. Статью о рисунках Пушкина? Видите ли, у меня тут своя научная работа. Но, конечно, с другой стороны, я понимаю. Гм, хорошо. Пять страниц на машинке? Пожалуй. Рисунки? Это я подберу».

Прежде чем вернуться к столу, Долев вышел в соседнюю залу музея. Теперь рядом с чернильницей и стопкой белой бумаги легли две толстые папки с пронумерованными рисунками поэта.

Часы за стеной проббили семь, потом восемь, а Долев всё ещё сидел над листами своих любимых папок. Они проходили перед ним, эти небрежные, прижатые к краю рукописных полей чернильные рисунки, блуждания пера. Вот покосившиеся крест и несколько стеблей, изогнутых вокруг заглавия «Странник»; вот странная процессия, точно сделанная из чернильных клякс пером, в расщепе которого застряла крохотная ниточка: рисунок к «Гробовщику» — с длинным гробом, поднятым кверху на упругих рессорах катафалка, с длинным бичом возницы и коротенькими фигурами провожающих катафалк; а вот и весёлый росчерк, оторвавшийся от подписи поэта и вдруг крутыми спиралями распаивающий чернильные крылья, превращающие росчерк в птицу.

Но особенно долго автор будущей статьи задержался на таинственном рисунке, который много раз и до того притягивал его внимание: это было изображение коня, занёсшего передние копыта над краем скалы; две задние ноги и хвост, как и у Фальконета, упирались в каменный ступ скалы; как и у Фальконета, под конём извивалась попрунная змея; как и в «Медном всаднике»... но Всадника не было. Поэт как бы подчеркнул это отсутствие, пририсовав к спине коня, к желтоватому контуру его вздыбленной фигуры, чернилами более тёмного оттенка некоторое подобие седла. Где же всадник, где звучала его медная поступь и почему седло на рисунке № 411 было пусто?

Долев, сосредотачиваясь на той или иной мысли, имел привычку закрывать глаза. Так и теперь. Веки были странно тяжёлыми, как свинцом давили на зрачки. Он сделал усилие раскрыть глаза. Что за диковина? Конь, как и прежде, стоял на профиле каменной глыбы, но длинная морда его, в ракурсе, была повернута в сторону Долева и чернильные точки-глаза шевелились. Надо было стряхнуть с себя иллюзию, протереть глаза, но руки чугунными перилами вросли в подлокотники кресла, и Долев мог только одно: наблюдать.

Конь сделал лёгкий прыжок и широкой рысью двинулся вперёд. Плоское пространство бумажного листа разворачивающимся свитком несло впереди него. Волнообразный гад, высвободившись из-под копыт, уцепился ртом за конец длинного конского хвоста, от чего тот казался втрое длиннее. Рысь перешла в карьер. Секунда — и конь, точно упругий мяч, оттолкнувшись от земли, взлетел, снова ударился копытами оземь — и тут у его движущихся лопаток, вывинчиваясь из плоского тела чернильными росчерками, стали быстро расти лёгкие крылья. К двум парам ног пришла на подмогу третья, воздушная, — и конь нёсся теперь высоко над нижним краем листа, ныряя в облака и из них выныривая. Долев (пульс всё чаще стучал в висках) еле поспевал глазами за полётом.

Но вот конь прижал крылья к вздымающимся бокам и скользнул вниз. Копыта его остро цокнули о каменистую землю, и из-под них, прозрачной струёй, брызнул искристый луч. «Иппокрена!» — мелькнуло в мозгу у Долева. Конь, отдыхая, спокойно щипал чернильно-чёрные штрихи травы, выросшие из нижнего края свитка. Местность уходила в глубину мягкими холмами, за контурами которых виднелась вершина какой-то горы, одетая в лёгкие росчерки туч.

Седло, пририсованное к спине коня, по-прежнему было без всадника.

И тут внезапно Долев почувствовал, что он не один. Справа и слева от его закаменевших рук было ещё по паре глаз. Одна принадлежала, как он это увидел, скосив взгляд, запыхавшемуся Самосейкину, другая — почтенному пушкинисту, профессору Гроцяновскому. Через мгновение оба они очутились на рисунке, так что не надо было поворачивать головы к плечу, чтобы их видеть. Оба они были покрыты чернильными брызгами пыли; галстук Самосейкина съехал почти что на спину, а из прорванных локтей чёрного сюртука профессора торчали его голые натруженные мозолистые локти. Сейчас оба они подходили, профессор со стороны узды, поэт — со стороны хвоста, к мирно щипавшему штрихи травы коню. Тот шевельнул острыми ушами и, приподняв узкую голову, оглядел их весёлым, юмористическим оком. Профессор протянул руку к узде, поэт — к хвосту, но в тот же миг конь резко вздёрнул голову и хлестнул учетверённым хвостом. Профессор взлетел вверх и тотчас же рухнул наземь; поэт, получивший размашистый удар хвоста змеи, присосавшейся к хвосту коня, отлетел далеко назад. Оба они, привстав, с испугом смотрели на норовистое четырёхкопытное существо.

В то же время в глубине рисунка появилось, вначале неясно для глаза, два человеческих контура. Они подходили всё ближе и ближе. Через минуту уже можно было различить, что один одет в белую складчатую тогу, другой — в чёрный, как клякса, узкий в талии и широкими раструбами расходящийся книзу сюртук. Контурные шли по змеевидной извилистой тропинке среди лавровых кустов и фантастических росчерков наземных трещин. Белый, теперь уже это можно было разглядеть, держал в левой руке вощёные таблички, в правой — поблескивал стальной стилос; чёрный размахивал в воздухе изогнутым, как запятая, хлыстом. Белый иногда вчерчивал что-то в свои таблички, чёрный, обнажая улыбкой белые, под цвет

бумажному листу, зубы, вписывал свои мысли острым кончиком хлыста прямо в воздух. И от этого, точно чёрная летучая паутинка, на белом пространстве листа возникали строки, строки вырастали в строфы и плыли, меж трав и неба, чуть колеблемые слабым дуновением ветра. Это были какие-то новые, не читанные никогда никем стихи поэта. Гроцяновский и Самосейкин сперва раскрыли рты, потом опрометью кинулись навстречу скользящим в воздухе строкам. Но от резкого движения воздуха строки эти теряли контур и расплывались, как дым, потревоженный дыханием. Однако исследователь и поэт продолжали их преследовать. Спотыкаясь о камни, они падали, подымались снова. Гроцяновский, одышливо дыша, рылся в карманах, отыскивая записную книжку. Но она, очевидно, затерялась. Самосейкин, вынув вечное перо, тщательно подвинтил его и, подражая человеку в чёрном сюртуке, пробовал вписывать свои заметы в воздух. Тот не терял при этом своей гладкой белизны. Движения Самосейкина с каждым мигом делались всё лихорадочнее и некоординированнее. Он искал причину неудачи в несложном механизме вечного пера, встряхивал им, пробовал писать на ладони: ладонь была покорна его воле, но бумажный воздух упорствовал.

Впрочем, вскоре оба они, увлечённые погоней, скрылись за чернильной линией холма.

Тогда конь, стоявший до сих пор почти без движения, оторвал копыта от земли и, кругля бегом ноги, приблизился к тем двоим, чёрному и белому.

Человек в тоге ласково потрепал его по вытянутой шее. Конь, выражая радость, нервно стриг воздух ушами. Затем он подошёл к человеку в чёрном и положил ему голову на плечо. Тот, бросив в сторону толстую палку, на которую опирался, нежно обнял шею коня. Так они простояли, молча, с минуту, и только по радостно горящим глазам человека и по вздрагиванию кожи на шее коня угадывались их чувства.

В это время из-за линии холма показались снова Самосейкин и Гроцяновский. Они были измучены вконец. Пот градом сыпался с их лбов. Вместо сюртука с плеч профессора свисали какие-то разрозненные чёрные кляксы. О штанах Самосейкина можно было вспомнить «с благодарностию: были».

— Александр Сергеевич, — простонал задыхающимся голосом пушкинист, — маленькую справочку, только одну справочку...

Самосейкин в вытянутой руке держал какой-то томик, вероятно, своих собственных стихов: взор его молча молил об автографе.

— Александр Сергеевич, не откажите, дайте за вас Бога молить, обогатите нас датой, одной крохотной датой: в ночь с какого числа на какое (год нам известен), с какого на какое изволили вы начертать ваше «Пора, мой друг, пора!» э цетера?!

Человек в чёрном улыбнулся. Потом тронул коня за повод и поднял ногу в стремя. Уже сидя в седле, он наклонил голову к груди. И прозвучал его такой бесконечно милый сердцу, знакомый воображению каждого голос:

— Да, пора.

Несколько секунд длилось молчание. И снова его голос:



— Ночью. А вот какого числа, запомнил. Право.

И последнее, что видели на его лице Самосейкин, Гроцяновский и Долев: вежливая, смущённая улыбка. Конь сверкнул чернью четырёх копыт — и видение скрылось.

Настойчивый стук в дверь заставил Долева проснуться. В окно смотрело солнце. Циферблат часов показывал час открытия музея. Долев встал, бросил беглый взгляд на рисунок коня без всадника, лежащий на прежнем месте, и на не тронутую пером стопку писчей бумаги. Сделав нужные распоряжения, директор Пушкинского кабинета вернулся к стопке бумаги. Он попросил не тревожить его до полудня. Без десяти двенадцать звонок в редакцию извещал, что вместо статьи о рисунках Пушкина получился фантастический рассказ. Как отнесётся к этому уважаемая редакция? Уважаемая редакция, в лице замреда, недоумевающе пожала плечами.

1934

*Сигизмунд Доминикович Кржижановский* (1887—1950) — писатель-прозаик, практически все произведения которого были опубликованы через много лет после смерти автора (наиболее полное издание: *Собрание сочинений*: В 6 т. СПб., 2001—2013). Экспериментальную прозу Кржижановского сравнивают с произведениями писателей-романтиков (Э. По, Э. Т. А. Гофмана), А. Грина, Х. Л. Борхеса. В 1920—1930-е годы вынужденно занимался литературоведением (статьи о Шекспире, Пушкине, Чехове).

### Примечания

*Флегетон* — огненная река в Подземном царстве, где претерпевают вечные муки убийцы; упоминается у Платона и Данте.

*Палеологи* — последняя династия византийских императоров (1261—1453), позаимствованный из Византии «древний палеологовский герб» — двуглавый орёл, в конце XVII в. был объединён с гербом Московского царства: всадник, поражающий змею.

*На рисунке № 411* — эта нумерация условна. Однако все описываемые Кржижановским рисунки, действительно, находятся в рабочих тетрадях Пушкина.

*Иппокрена* (гр. Ἴπλου κρήνης — конский источник) — в древнегреческой мифологии волшебный источник на горе Геликон, забивший от удара копыта коня Пегаса; источник вдохновения для поэтов.

*Стило* (стило) — в Древней Греции бронзовый заострённый стержень для письма на вощёной дощечке.

*Э цетера* (лат. et cetera) — и так далее.

**На отлёт лебедей**

Некогда мощны, ясны и богаты,  
Нынешних бойких быстрот далеки,  
Негоцианты и аристократы  
Строили прочные особняки.

Эллинство хаты! Содомство столицы!  
Бред маскарадных негаданных встреч!  
Эмансипированной теремницы  
Смутно-картавая галльская речь!

Лист в Петербурге и Глинка в Мадриде,  
Пушкин. Постройка железных дорог;  
Но ещё беса гоняют — изыди;  
Но департамент геральдики строг.

После — стада волосатых студентов  
И потрясателей разных стропил,  
Народовольческих дивертисментов  
И капитана Лебядкина пыл...

Век был — экстерн, проходимец, калека;  
Но проступило на лоне веков  
Тонкое детство двадцатого века:  
Скрябин, Эйнштейн, Пикассо, Гумилёв.

Стоило ль, чахлую вечность усвоив,  
Петь Диониса у свинских корыт?  
А уж курсисточки ждали героев  
И «Варшавянку» пищали навзрыд.

Нынче другое: жара, пятилетка  
Да городской южно-русский пейзаж:  
Туберкулезной акации ветка,  
Солнце над сквером... Но скука всё та ж.

Древняя скука уводит к могилам,  
Кутает сердце овчиной своей.  
Время проститься со звёздным кормилом  
Под аполлоновых лёт лебедей.

Кажется сном аполлонова стая,  
Лебедам гостеприимен зенит.  
Лебедь последний в зените истаял,

Дева прохожая в небо глядит.

Девушка, ах! Вы смотрите на тучку.  
Внемлите птичке... Я вами пленён.  
Провинциалочка! Милую ручку  
Дайте поэту кошмарных времён.

С вами всё стало б гораздо прелестней.  
Я раздобрел бы... И в старости, вдруг,  
Я разразился бы песнею песней  
О Суламифи российских калуг.  
*Июль 1931, Харьков*

*Владимир Евгеньевич Щировский* (1909—1941) — русский поэт, в советскую эпоху ориентированный на традиции Серебряного века. Погиб в первые месяцы Великой Отечественной войны. При жизни не напечатал ни одного стихотворения. Немногочисленные сохранившиеся произведения опубликованы в сборнике «Танец души. Стихотворения и поэмы» (М., 2008).

### Примечания

*Лист Ференц* (1811—1886) — венгерский композитор, был в Петербурге в 1842, 1843 и 1847 гг.

*Глинка Михаил Иванович* (1804—1857) — композитор, считающийся основоположником русской композиторской школы. В 1844—1847 гг. жил в Испании, написал оркестровые пьесы «Арагонская хота» (1845) и «Ночь в Мадриде» (1851).

*Скрябин Александр Николаевич* (1872—1915) — русский композитор, считающийся одной из значительных фигур в культуре Серебряного века.

*Суламифь* (Суламита) — возлюбленная царя Соломона, которой, согласно преданию, посвящена ветхозаветная «Песнь песней» (IX—III вв. до н. э.); А. И. Куприн использовал библейскую фабулу в повести «Суламифь» (1908).